
История идей

Владимир КАНТОР

КТО ВИНОВАТ, ИЛИ БЕЗУМИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Создание героического мифа

XX век не раз определялся как век массового безумия, коллективного психоза. Словно исполнились мрачные предчувствия Достоевского: «Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими» («Преступление и наказание»).

Среди провидевших это безумие нельзя забыть и Герцена. Иван Карамазов, как известно, написал поэму «Геологический переворот», в которой, очевидно, не могли не прозвучать строки о грядущих катаклизмах из любимого Достоевским текста Герцена «С того берега»:

Или вы не видите <...> новых варваров, идущих разрушать? — Они готовы, они, как лава, тяжело шевелятся под землю, внутри гор. Когда настанет их час — Геркуланум и

Помпея исчезнут, хорошее и дурное, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот...¹

В конце жизни Герцен вспомнил и о *трихинах*. Но об этом позже.

Камю в «Бунтующем человеке» как-то заметил о русских нигилистах, что по чердакам и подвалам, малозаметные, они готовили грядущие социальные катастрофы. Катастрофы, где «правый и виноватый погибнут рядом»! Словно в колбах выращивались эти злые идеи-трихины, а в других колбах готовились бомбы, взрывавшие правопорядок. В стихотворении «Трихины» (1917) Максимилиан Волошин, уже отчасти подытоживая, но и продолжая пророчество, написал:

Исполнилось пророчество: трихины
В тела и в дух вселяются людей.
И каждый мнит, что нет его правей.
Ремесла, земледелие, машины
Оставлены. Народы, племена
Безумствуют, кричат, идут полками,
Но армии себя терзают сами,
Казнят и жгут — мор, голод и война.

Кто же виноват в этом массовом помутнении рассудка?

Разумеется, не один человек, не один мыслитель, но некое настроение умов, создававшееся не одно десятилетие, создававшееся поначалу как игра ума, но выплеснувшееся вдруг в жизнь. Человечество уже несколько тысячелетий стоит перед проблемой, которую можно обозначить словосочетанием «кто виноват». Кто виноват в зле мира, в катастрофах, несчастьях, злодействах, разбитых жизнях? Бог? Дьявол? Устроенный Богом мир? («Я не Бога, я мира, Им созданного, не принимаю», — бормочет Иван Карамзов). Мировой ли разум Гегеля, в сущно-

¹ Герцен А. И. С того берега // Герцен А. И. Собр. соч. в 30 тт. Т. VI. М.: АН РАН, 1955. С. 58. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

сти, философский псевдоним Господа? Или сам человек? А Бог ведь в конце пути обещает всеобщую гармонию? Кто же бунтует против нее? Получается, что человек, не способный осознать своим «евклидовым умом» грядущий результат и потому пытающийся строить свой новый мир. Августин твердо снимал с Бога те грехи, которые сам совершал в жизни, ибо Бог дал ему свободу. А стало быть, и ответственность за себя.

Перед Герценом стояли два типа безумия, о которых он размышлял. Безумие *мещанского быта*, описанного им в городе Малинове², а потом увиденного в Европе, жизнь в которой он назвал апофеозом мещанства. И второй тип безумия — разрушительный: он разделял его, в свою очередь, на катаклизм, порожденный природой, и революционное деяние, которое строит историю, и без того безумную по сути своей. Простое перечисление исторических бедствий приводит его героя доктора Крупова к мысли о безумии человеческого рода. Если Бог (или мировой разум) так строит историю, то и человеку не грех позаимствовать у Бога это безумие.

Есть ли такие силы у человека? Очевидно, полагал Герцен, есть у избранных натур. Романтическая личность — это сильный характер, преодолевающий все препятствия. Романтический герой противопоставляет себя окружающему миру. Творец же романтических текстов, как утверждала немецкая эстетика, непременно гений, в этом смысле равный Богу.

Надо сотворить из себя такую личность. Герцен оказался на это способен. Много ума было. Белинский даже восклицал, что не знает, зачем столько ума одному человеку. Но надо было избрать позицию, которая поставила бы его на должную высоту, откуда он мог бы творить ис-

² Наглядевшись на жизнь русских обывателей, он изображает их в своей прозе как коллекцию умалишенных: «Пусть человек, гордый своим достоинством, придет в Малинов посмотреть на тамошнее общество — и смиритя. Больные в доме умалишенных меньше бессмысленны. Толпа людей,двигающаяся и влекущаяся к одним призракам» (I, 293).

торию. В этом контексте любопытна «аннибалова клят- ва», данная друг другу двумя мальчиками на Воробьевых горах, — посвятить жизнь ниспровержению империи. Два будущих Ганнибала хотели в своих глазах выглядеть героями. Они считали себя натурами избранными, как незадолго до смерти грустный Герцен записывал в свой дневник. Но в России влияние на умы давало писательство, сила слова.

У нас часто говорят, что Достоевский — это писатель, поднявшийся на философские высоты, а Герцен-де — философ, ставший писателем. Думаю, что он прежде всего писатель, хотя и прошедший хорошую философскую школу (как и многие другие русские литераторы). Его публицистика, построенная в форме диалогов, вполне в контексте художественно-философских диалогов Платона, как и проза Достоевского. Скажем, в письмах «С того берега» (пожалуй, одной из важнейших его книг, даже собеседник известен — И. П. Галахов) он — социалист, публицист, любовник Марии Львовны, первой жены Огарева. Особое место в прозе Герцена занимают мемуары, наверное, главная книга его жизни, где он не только защищал себя от наветов, но и строил свой образ, каким романтический автор хотел явиться миру. Эта книга — удивительный сплав реальности и мифа, действительно, как в платоновских диалогах. Только искал автор не истину, а себя. Обычно мемуарист описывает себя, чтобы рассказать о других, система герценовских мемуаров иная: он рассказывает о других, чтобы рассказать о себе.

Задача была — выглядеть героически. Но это потом была задача всех вождей, особенно в тоталитарные эпохи. По словам блистательного исследователя языка нацистской эпохи, героизм в тоталитаризме потерял реальную ценность: *«Тем чище героизм, тем значительнее, чем он тише, чем меньше у него публики, чем менее выгоден он для своего героя, чем меньше у него декораций»*³.

³ Клемперер В. ЛТІ. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога / Перевод с нем. А. Б. Григорьева. М.: Прогресс-Традиция, 1998. С. 15.

Герцен, как впоследствии и герои «Народной воли», искал публичности. Каждый его текст — это вызов общественному мнению и создание мифа своей жизни, мифа, ориентированного на западного читателя. Здесь и преувеличение своего антиправительственного поведения и тяжести наказания (хотя в ссылке он был на вполне приличных чиновных местах, мог писать и писал). Но перед западным читателем надо было предстать более несгибаемым, да и режим представить более жестоким, чем он был на самом деле, необходимо было самосозидание образа героя. Стоит привести его слова, где он с мушкетерской легкостью персонажа Дюма как бы между прочим приписывает себе тот приговор, который на самом деле пережили петрашевцы и Достоевский: «Нас обвинили *в намерении* создать тайное общество и желании пропагандировать сен-симонистские идеи; нам прочитали в качестве скверной шутки смертный приговор, а затем объявили, что император по своей поистине непрости- тельной доброте приказал подвергнуть нас лишь исправи- тельному наказанию — ссылке» (VII, 218). Это непрости- тельное заимствование чужой трагедии, при этом он совсем не чувствует реальный ужас действительного ожидания казни на плацу, а потом многолетней каторги и солдатчины!.. Это не может не выглядеть кощунством. Желание *казаться* — страшная сила в общественной жизни. Собственно, уже в этом желании ясен элемент безумия.

Герцен — один из первых удачливых шоуменов, создавших миф своей жизни. Интересно, заметил ли это при- своение его судьбы Достоевский...

По счастью для исследователей, сохранились реаль- ные страницы допросов; сошлюсь на фундаментальный трактат Мартина Малиа, который пишет очень осторожно, чтобы не задеть национальную гордость великороссов: «В “Былом и думах” Герцен несколько преувеличивает беззаботную дерзость его ответов судьям; он даже упоминает, как попрекал достойного, но не очень образованного члена комиссии за то, что в его библиотеке находились ме- муары герцога Сен-Симона. Транскрипция допросов предлагает нам совсем другую картину. Герцен и Огарев изо всех сил старались давать безобидные объяснения са- мых сомнительных отрывков из их писем, подчеркивая

тому религиозного и нравственного возрождения, лишённого какого-либо политического содержания»⁴.

В контексте герценовского сотворения мифа о себе уже не покажется случайной легенда Нечаева, с которой он явился на Запад к Герцену, Бакунину, Огареву, «предварительно распространив слух, что он арестован и заключен в Петропавловскую крепость. А затем из-за границы он написал товарищам, что ему при отправке из Петропавловской крепости в Сибирь удалось бежать. Этим он хотел, во-первых, поднять свой революционный престиж среди студентов, надеть на себя корону героя и мученика»⁵. Бакунина и Огарева он пленил своей решительностью, Бакунин называл его «тигренок» и создал еще одну мифологему. Стихотворение Огарева «Студент» было первоначально посвящено «Памяти Сергея Астракова». Бакунин похвалил стихи, но заметил, что было бы полезнее для дела «посвятить молодому другу Нечаеву»⁶. Стихи, конечно, поэтически беспомощные, но, как любил говорить Ленин, «политически верные»:

И, гонимый местью царской
И боязнию боярской,
Он пустился на скитанье,
На народное воззвание...
.....
— «Отстоять всему народу
Свою землю и свободу».

Стоит отметить, что в «Бесах» (с которыми многое рифмуется в творчестве Герцена) Петр Верховенский рассказывает, что это стихотворение посвящено ему, да заодно намекает, что автором поэтического панегирика является сам Герцен. Как справедливо заметила Раиса Орлова, «Герцен непосредственно столкнулся с последст-

⁴ *Малия Мартин*. Александр Герцен и происхождение русского социализма / Перевод с англ. Ал. Павлова и Дм. Узланова. М.: Территория будущего, 2010. С. 207.

⁵ *Шуб Д. Н.* Сергей Нечаев // <http://narodnaya-vola.ru/Person/nechaevshub.php>

⁶ Письма М. Бакунина Герцену и Огареву. 1907. С. 372–377.

виями своей жизни. Увидел в Нечаеве — пусть и страшно искривленное, исковерканное, но тоже *последствие*»⁷.

Любопытно, как проявляется это делание из себя легенды в «Бесах», где бес руководит Ставрогиным: перед визитом к «нашим» бес Верховенский говорит Ставрогину: «*Сочините-ка вашу физиономию*, Ставрогин. Я всегда сочиняю, когда к ним вхожу. Побольше мрачности, и только» (курсив мой. — В. К.).

После смерти Герцена Нечаев продолжал действовать, используя все те же — миф, ложь, шантаж. Запугивал Наташу, дочь Герцена, желая герценовских денег, угрожая, что если она вернется в Россию, «нашим придется так или иначе с вами покончить»⁸. Эти мифические «наши» (термин из «Былого и дум», в уголовно-революционном варианте использованный Достоевским в «Бесах») были продолжением лживой нечаевской легенды. Разоблачил и выявил его сущностную основу как основу будущей деятельности «наших» благороднейший Г. Лопатин, написавший Бакунину: «Все рассказы Нечаева есть чистая ложь»⁹. То, что можно было объяснить писательской фантазией Герцена, в устах Нечаева приобретало дьявольский оттенок провокации стремящегося к власти деспота. Более того, в словах Лопатина о Нечаеве можно невольно разглядеть парафраз к «Запискам сумасшедшего» Гоголя: «Сегодняшний день — есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я».

Королем, точнее, императором, властелином чувствует себя и Нечаев. Лопатин пишет:

И почему это Нечаев воображает, что каждый человек, подобно ему, должен говорить про себя непременно «мы»? Смею его уверить, что, кроме его, только одни императоры

⁷ Орлова Рауса. Последний год Герцена. N. Y.: Chalidze publ., 1982. С. 86.

⁸ Дневник Н. А. Герцен // Герцен и Запад. Литературное наследство. Т. 96. М.: Наука, 1985. С. 454.

⁹ Г. А. Лопатин — М. А. Бакунину (20 мая 1870) // Герцен и Запад. Литературное наследство. Т. 96. С. 482.

выражаются так глупо! И почему Нечаев вообразил также себе, что все люди, подобно ему, только и думают что о том, как бы им держать других людей «в руках»? Еще раз смею уверить Нечаева, что это опять-таки императорская замашка; большинство порядочных людей хлопочет только о том, чтобы их самих никто в руках не держал¹⁰.

Впрочем, первым испанским королем все же был Герцен. Он назвал себя *Искандером*, то есть Александром Македонским, дал на Воробьевых горах знаменитую «аннибалову клятву» о разрушении Третьего Рима и рассказал много раз об этом широкой публике.

В трактате «Развитие революционных идей в России» Герцен писал:

Кто из нас не хотел вырваться навсегда из этой тюрьмы, занимающий четвертую часть земного шара, из этой чудовищной империи, в которой всякий полицейский надзиратель — царь, а царь — коронованный полицейский надзиратель? (VII, 222)

В мемуарах, опираясь на письмо Чаадаева, прочитанное в ссылке в Вятке в уюте «за своим письменным столом», в журнале, принесенном почтальоном, он подтверждает эту характеристику. Герцену было важно подчеркнуть *дикость власти*:

«Письмо» Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь <...> Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и не привыкшей к независимому говору, что «Письмо» Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горе от ума» не было ни одного литературного

¹⁰ Герцен и Запад. С. 485.

произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними — десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, каторга, Николай (IX, 139).

Стоит сослаться на высказывание советского литературоведа, человека с острым глазом: «Это восприятие вполне естественно для ссыльного юноши, живущего в глухой Вятке. Но историк литературы не имеет права забывать, что в год опубликования чаадаевского “Письма” состоялась премьера “Ревизора”, была напечатана “Капитанская дочка”, “Скупой рыцарь”, “Нос” и сборники стихотворений Кольцова и Полежаева, поставлены глинкинский “Сусанин” и “Гамлет” с Мочаловым, начал издаваться пушкинский “Современник”, где, в частности, появились двадцать четыре тютчевских шедевра, вышла в свет “Воображаемая геометрия” Лобачевского <...> Всего этого Герцен, конечно, не мог знать, и только потому жизнь русской культуры представлялась ему “темной ночью”, в которой даже “нечего было сказать”»¹¹.

Надо, однако, внести поправку в рассуждение В. Кожина. Разумеется, в Вятке Герцен этого не знал, но писал-то он свой текст спустя 15 лет, уже вполне сознавая развитие русской литературы. Беда была в том, что литературу он воспринимал либо как обличение николаевского режима, либо как призыв к свободе. Думается, эта позиция была абсолютно в духе революционно-романтической поэзии à la Гервег. Ему хотелось по-прежнему поддерживать героический посыл эмигрантства. Трезвого философско-политического анализа здесь не было.

Философский анамнез писателя

Достоевский 24 марта 1870 года писал Страхову из Дрездена:

¹¹ Кожин В. В. Размышления о русской литературе. М.: Современник, 1991. С. 167.

Есть и еще одна точка в определении и постановке главной сущности всей деятельности Герцена — именно та, что он был, всегда и везде, — *поэт по преимуществу*. Поэт берет в нем верх везде и во всем, во всей его деятельности. Агитатор — поэт, политический деятель — поэт, социалист — поэт, философ — в высшей степени поэт! Это свойство его природы, мне кажется, много объяснить может в его деятельности, даже его легкомыслие и склонность к каламбуру в высочайших вопросах нравственных и философских (что, говоря мимоходом, в нем очень претит)¹².

Надо сказать, что это чисто поэтическое восприятие мира приводило Герцена к пониманию мира как постоянной катастрофы, порождаемой случаем.

Гегель полагал, что «всемирная история не есть просто суд, творимый *силой* мирового духа, т.е. абстрактная и лишённая разума необходимость слепой судьбы, но поскольку мировой дух есть в себе и для себя *разум*, для себя бытие разума в духе есть знание, то всемирная история есть необходимое только из понятия свободы духа, развитие *моментов* разума и тем самым самосознания и свободы духа — истолкование и *осуществление всеобщего духа*»¹³. Герцен всеобщему духу противопоставляет индивида как равновеликую силу. За всем этим стояло высоко развитое **эго**, не случайно он верил, что единица может повернуть историю. Как пример для него были вначале Петр Великий, «силой своего гения, вопреки народу» (I, 29)¹⁴ двинувший Россию в Европу, а затем антагонисты петровского дела — декабристы, разбудившие общественную мысль. Замечу, что в отличие от Гегеля, который писал, что «всемирная история есть прогресс в сознании свободы»¹⁵, у Герцена исто-

¹² *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. в 30 тт. Т. 29. Кн. 1. Письма. Л.: Наука, 1986. С. 113.

¹³ *Гегель Г. В. Ф.* Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 370.

¹⁴ И далее: «Укажите, где, в какой стране, на каком поприще был человек более самобытный, для которого обстоятельства сделали бы менее» (I, 33).

¹⁵ *Гегель Г. В. Ф.* Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 2005. С. 72.

рия есть порождение безумия, не знающего границ в преступлениях. То есть не свобода, а вольница, где нормой является безумие. В романе «Кто виноват?» молодой доктор говорит: «Жизнь есть не что иное, как воспаление материи». Стало быть, природа по сути своей тоже некая болезнь. И что же в ней человек?..

В трактате «С того берега» (1850) он выразил этот свой катастрофизм довольно ясно: «Смерть одного человека не меньше нелепа, как гибель всего рода человеческого. Кто нам обеспечил вековечность планеты? Она так же мало устоит при какой-нибудь революции в солнечной системе, как гений Сократа устоял против цикуты» (VI, 106). Итак, миром правит Случай.

Потом снова начнется жизнь, выползут ящеры, затем человек и история. А собственная логика человеческого развития? Герцен помнит идею Августина: «Августин на развалинах древнего мира возвестил высокую мысль о веси Господней, к построению которой идет человечество» (III, 87). Но верил ли он сам, что смерть Христа и Его второе грядущее пришествие создают движение истории? Во всяком случае, в те годы у Герцена оставался вопрос, способен ли человек на этот путь? «Представьте себе медаль, на одной стороне которой будет изображено Преображение, на другой — Иуда Искариот!! — Человек» (I, 135). Мизантропия очевидная. К вере в силу человека он пришел в полемике с Гегелем.

В 40-е годы Герцен написал пару философских циклов — «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы», которые были замечены; там была сделана попытка пересказать русским мальчикам гегелевскую мысль. В XXV главе своих мемуаров в 1854 году Герцен написал, что еще в России он произнес свою знаменитую фразу, от которой в восторге был Ленин и последующие советские философы: «Философия Гегеля — алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя» (IX, 23). Так он это тогда сказал или не так, гадать не будем. Все же в России Герцен оставался верным последователем Гегеля с его идеей о разумности истории и мироздания.

Скорее всего, идея «алгебры революции» (оксюморон, на мой взгляд) возникла уже в эмиграции, когда он хотел победы революции почти любой ценой, когда бакунинская «страсть к разрушению» стала казаться ему почти математической формулой, позволявшей не считаться с количеством погибших во имя революции. Хотя он и знал ее безумие, помнил, что французские революционеры казнили статуи, рубили им головы, а заодно гильотинировали и строгого ученого — химика Лавуазье.

Мысль о преодолении Гегеля носилась в европейском воздухе, особенно среди левых гегельянцев. Уже в своем трактате о дилетантизме Герцен ставит под сомнение разум как движущую силу истории:

Разум сущий прояснил для себя в науке, свел свои счета с прошедшим, — но осуществиться будущему надобно не в одной всеобщей сфере. В ней будущности, собственно, нет, потому что она предузнана как неминуемое логическое последствие, но такое осуществление бедно своей отвлеченностью; мысль должна принять плоть, сойти на торжище жизни (IX, 75).

Возможно ли это? У него на этот счет большие сомнения: «Животный организм мало-помалу развивает в себе инстинкт, в человеке развитие идет далее... вырабатывается разум, и вырабатывается трудно, медленно, — *его нет* ни в природе, ни вне природы, его надобно достигать, с ним улаживать жизнь как придется, потому что *libretto нет*» (VI, 105).

Для Гегеля в истории не было места случайности, в сущности, разум выполнял функцию Бога. Как говорят современные богословы, Гегель рассматривал свой труд как «теодицею, как оправдание Бога в истории». Действию разума в истории у Гегеля Герцен противопоставляет случай, который заменяет Бога. Но стоит вдуматься в мысль Камю: «Если судьбой не управляет некая высшая ценность, если царем является случай, начинается путь в темноте, страшная свобода слепца»¹⁶. А в темноте челове-

¹⁶ Камю А. Бунтующий человек. М.: Республика, 1990. С. 172.

ка окружают всяческие гады и хтонические чудовища. И они Герцену встретились. Ведь там, где нет Бога, ходит бес. Характерен вопрос Ставрогина архиерею Тихону — мол, можно ли верить в беса, не веря в Бога?

Самый большой отклик вызвал роман Герцена «Кто виноват?», где впервые были поставлены собственно герценовские проблемы. У нас часто повторяют это заглавие, полагая, что Герцен в романе искал виновных. Хотя виновных в чем? Ответ на вопрос «Кто виноват?» дает сам Герцен в эпиграфе к роману, взятом из некоего губернского протокола: «А случай сей за неоткрытием виновных предать воле Божией, дело же, почислив решенным, сдать в архив. *Протокол*». Так что же? Виновата история? Люди? А никто... Стечение обстоятельств. Вот уж пессимизм, круче которого в России не было.

Чуть позже российские литературоведы возвели название романа до символа, означающего безысходность русской жизни, которая в процессе цивилизации и образования поправится. Скажем, классик русского позитивистского литературоведения сформулировал это так, что стоит «призадуматься над вопросом “кто виноват?” — и заподозрить, что этот вопрос принадлежит к числу очень сложных, очень мудреных и “очень русских”. И прежде всего приходит нам в голову мысль, что в конце концов “виновато” отсутствие культурной и умственной традиции, в силу чего даровитый человек не получает надлежащей выдержки в труде, не находит себе специального дела, не может стать работоспособным деятелем жизни. “Виновато”... отсутствие... Иначе говоря, “виновато” все наше прошлое, — та “отчужденность” и то “рабство”, зрелище которых явилось основанием чаадаевского пессимизма и отрицания»¹⁷. И вывод его прост и ясен: «Полное, окончательное устранение психологической

¹⁷ Овсянко-Куликовский Д. Н. Из «Истории русской интеллигенции». Бельтов // Овсянко-Куликовский Д. Н. Литературно-критические работы в 2 тт. Т. 2. М.: Художественная литература, 1989. С. 123.

чаадаевщины — это все еще дело будущего... Она исчезнет только вместе с нашей культурной отсталостью, темнотой масс, дикими понятиями, жестокими нравами»¹⁸. Однако стоит сказать, что вопрос «кто виноват» **отнюдь не только русский вопрос**, а вполне общеевропейский, это, в сущности, неявно для самого Герцена заданная *тема теодицеи*. Тема, которую он, увы, не осознал.

Роман Герцена — это история о безумии жизни, не поддающейся законам разума, хотя жизнь Круциферских поначалу строилась разумно, а потому счастливо. Но не на таких ли же основаниях строилась поначалу и жизнь многострадального Иова? Иова отдает на проверку сатане сам Господь, и сатана испытует Иова. А семейное счастье Круциферских ломает прихоть и безумие барчука Бельтова, человека хорошего, но не способного обуздать себя ради другого, по сути выступающего здесь в роли Сатаны.

А образ-то автобиографический, подчеркнем это. Запечатательна характеристика, данная автором Бельтову, характеристика с явной издевкой над русским умом и идиотическим бездействием:

Побился он с медициной да с живописью, покутил, поиграл, да и уехал в чужие края. Дела, само собою разумеется, и там ему не нашлось; он занимался бессистемно, занимался всем на свете, удивлял немецких специалистов многосторонностью русского ума; удивлял французов глубокомыслием, и в то время, как немцы и французы делали много, — он ничего, он тратил свое время, стреляя из пистолета в тире, просиживая до поздней ночи у ресторанов и отдаваясь телом, душою и кошельком какой-нибудь лоретке.

Белинский вполне увидел эту причину, то есть прихоть и безумие:

Вообще «Кто виноват?» собственно не роман, а ряд биографий, мастерски написанных и ловко связанных внешним

¹⁸ *Овсянко-Куликовский Д. Н. Указ. изд. Т. 2. С. 129.*

образом в одно целое именно тою мыслию, которой автору не удалось развить поэтически. Но в этих биографиях есть и внутренняя связь, хотя и без всякого отношения к трагической любви Бельтова и Круциферской <...> Это — страдание, болезнь при виде непризнанного человеческого достоинства, оскорбляемого с умыслом *и еще больше без умысла* (курсив мой. — В. К.)¹⁹.

Резонер романа и рупор идей Герцена доктор Крупов подводит итог разрушительной деятельности Бельтова, разрушительной, как природа, которая не знает разумных оснований:

Позвольте мне иметь смелость, Владимир Петрович, вас спросить — знаете вы или нет, что вы разрушили счастье семьи, на которую я четыре года ходил радоваться, которая мне заменяла мою собственную семью; вы отравили ее, вы сделали разом четырех несчастных. Из сожаления к вашему одиночеству я ввел вас в эту семью; вас приняли, как родного, вас отогрели там, а вы чем отблагодарили? Извольте знать, муж не нынче-завтра повесится или утопится, не знаю, в воде или вине; она будет в чахотке, за это я вам отвечаю; ребенок останется сиротой на чужих руках, и, в довершение, весь город трубит о вашей победе. Позвольте же и мне вас поздравить!

Благородный старик дрожал от гнева, говоря последние слова.

В своей поздней статье об Оуэне Герцен вновь вернулся к теме неразумных сил природы, написав, что сила не заключает в своем понятии сознательности как необходимого условия, напротив, она тем непреодолимее — чем безумнее, тем страшнее — чем бессознательнее. От поврежденного человека можно спастись, от стада бешеных волков труднее, а перед бессмысленной стихией человеку

¹⁹ *Белинский В. Г.* Взгляд на русскую литературу 1847 года // *Белинский В. Г.* Собр. соч. в 9 тт. Т. 8. М.: Художественная литература, 1982. С. 378.

остаётся сложить руки и погибнуть. Любовь — это тоже стихийная сила. Сам Герцен пережил не одну любовную трагедию, отчасти напроорочив их себе в своей прозе. Отсюда и его пессимизм.

Это точнее прочих показал Н. Страхов: «По всему своему душевному строю, по своим чувствам и взгляду на вещи Герцен был, от начала до конца своего поприща, *пессимистом*, т. е. темная сторона мира открывалась ему яснее, чем светлая; болезненные и печальные явления жизни он воспринимал с несравненно большей живостью и чуткостью, чем всякие другие»²⁰.

Анализируя главный роман Герцена, его коллизию, критик показывает, что трагизм этого конфликта взят Герценом во всей чистоте и силе. Если бы брак Круциферских совершился не по любви, а под давлением тех или других обстоятельств, если бы муж был дурен, стар, болен или опостылел бы своей жене с нравственной стороны, тогда любовь жены к другому мужчине имела бы некоторое оправдание. Если бы Бельтов или Круциферская были люди легкомысленные и порочные, которые только слишком поздно одумались и спохватились, — тогда беда, в которую они себя втянули, была бы некоторого рода наказанием за легкомыслие. Но ничего подобного здесь нет. Супруги искренно, нежно любят друг друга. Страсть Круциферской и Бельтова возникает из самых чистых отношений, из беспорочного душевного сочувствия. Все наказаны, и никто не виноват.

Невольно встает вопрос, почему же? И Страхов приходит к заключению: «На вопрос: кто виноват? — роман отвечает: сама жизнь, самое свойство человеческих душ, не могущих отказаться от счастья и предвидеть, как далеко заведут их собственные чувства, и вследствие того страдающих от всякого рода встреч и случайностей, которые наносят удары этим чувствам и разрушают это счастье»²¹. Но су-

²⁰ *Страхов Н. Н.* Борьба с Западом в нашей литературе. Герцен // *Страхов Николай.* Борьба с Западом. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 193—194.

²¹ Там же. С. 212.

щественно, что речь тут идет не только о человеческой жизни, но о космической судьбе земли. Более того, литературные экзерсисы в каком-то смысле предсказали судьбу самого Герцена: «Герцен вообще очень мрачно смотрел на вещи; он всюду ждал беды, везде чуял гибель. Мы видим, однако же, что этот мрачный взгляд не происходил из одного личного настроения, что он содержит в себе великую долю правды: зловещие пророчества сбываются»²².

Все творчество Герцена — это тяжба с историей. История — это порождение Европы. То есть тяжба с Европой от лица России. Разуму Гегеля, который определяет историю, мировому духу он противопоставил безумие человека, творящего историю. А, как писал Г. Шпет, тема человека — главное, что он противопоставил Гегелю. «Исторический ответ на этот вопрос представлен самим же Герценом и младогегельянством: история еще раз, — невзирая на все прежние разочарования и неудачи, — предъявила философии требование “вмешаться” в ее практику, руководить ею»²³.

Итак, безумие...

Если историей правит не разум Гегеля, то — что или кто? Герцен находит свою точку сопротивления гегелевскому панлогизму. Любимый герой прозы Герцена, ее резонер, доктор Крупов произносит: «Что бы историческое я ни начинал читать, везде, во все времена открывал я разные безумия, которые соединялись в одно всемирное хроническое сумасшествие. Тита Ливия я брал или Муратори, Тацита или Гиббона — никакой разницы: все они, равно как и наш отечественный историк Карамзин, — все доказывают одно: что история, не что иное, как связный рассказ родового хронического безумия...»

²² *Страхов Н. Н.* Указ. соч. С. 317.

²³ *Шпет Г. Г.* Философское мировоззрение Герцена // *Шпет Густав.* Очерк развития русской философии. II. Материалы. Реконструкция Татьяны Щедриной. М.: РОССПЭН, 2009. С. 230.

Хорошо знавший Герцена Б. Чичерин видел отчетливо близость позиции автора и героя:

Все теоретические вопросы разрешались у него остроумными сближениями, юмористическими выходками. В сущности, у него был ум совершенно вроде изображенного им доктора Крупова, склонный к едкому отрицанию и совершенно неспособный постичь положительные стороны вещей²⁴.

Строго говоря, эту точку зрения уже высказывал один из немецких младогегельянцев, воспринимавший негативную гегелевскую сферу духа в истории и пытавшийся противопоставить вольное человеческое, Единственного, как того, что может сопротивляться человечеству как целому, как кумиру абстрактной мысли. Исая Берлин написал:

Подобно тем ученикам Гегеля, которые занимали крайне левую позицию, в частности подобно анархисту Макс Штирнеру, Герцен считал опасными величественные, напыщенные абстракции, от одного звука которых люди звереют и совершают бессмысленные кровопролития, — это, по его мнению, новые идолы, на чьи алтари человеческая кровь проливается сегодня столь же безрассудно и бесполезно, как лилась она вчера²⁵.

Но почему М. Штирнер? Он, как и Герцен, боролся с идеей разума в истории у Гегеля. И тоже мог противопоставить гегелевскому разуму только идею безумия, как того, что свободно рождено человеком:

Что называют «навязчивой идеей»? Идею, которая подчинила себе человека. Убедившись, что овладевшая человеком идея безумна, вы запираете ее раба в сумасшедший дом.

²⁴ Чичерин Б. Н. Воспоминания. В 2 тт. Т. 1. М.: Изд. им. Сабашниковых, 2010. С. 391.

²⁵ Берлин Исая. Александр Герцен и его мемуары // Берлин Исая. Подлинная цель познания. Избранные эссе / Перевод с англ. и коммент. В. В. Сапова. М.: Канон+, 2002. С. 607.

Но величие народа, например — догмат веры, в котором не дозволено усомниться (кто это делает, тот совершает оскорбление величия) <...> Каждый день раскрывает трусость и мстительность этих сумасшедших, а глупый народ восторженно приветствует их безумные распоряжения²⁶.

То, что для Штирнера было наблюдением мизантропического философа, для Герцена стало предметом художественного исследования, тем более что Россия в каком-то смысле жила по законам художественного произведения, создавая, провоцируя эти сюжеты, а порой следуя за художественным сюжетом. Чаадаев высочайшей ложью был объявлен сумасшедшим. А еще раньше, в пьесе «Горе от ума», литературный герой Чацкий, в известной мере прототип Чаадаева, как показал Ю. Тынянов, оказался умнее своих собеседников, посмел блеснуть своим умом, за что тут же был ославлен сумасшедшим. Своего рода опережающее отражение, характерное для искусства. Жизнь последовала за художественным сюжетом.

Для Герцена безумие — и есть сама история. Возражая Герцену, можно бы сказать, что история — это пробивание нормы сквозь безумие, проблески, просветы нормы. Герой «Бесов» Кириллов, поднимая тему Герцена, рассуждает о норме человеческой жизни, которую не пощадили. Потому что в этом мире нет места норме.

У Достоевского мир безумен, ибо отказался от нормы — следования, или подражания Христу, как писал Фома Кемпийский. Ученик доктора Крупова Тит Левиафанский²⁷ отвечает:

²⁶ *Штирнер Макс*. Единственный и его собственность. СПб.: Азбука, 2001. С. 66. Интересно, что при всем том Штирнер готовил самого себя на роль хозяина сумасшедшего дома.

²⁷ Здесь, конечно, слышится намек на политико-государственно-го мыслителя Гоббса с его «Левиафаном». Но также можно увидеть и отзвук имени римского историка Тита Ливия, основоположника альтернативной истории, описавшего возможную борьбу Рима с Александром Македонским (Искандером!), если бы Александр прожил дольше. Он же описал войну Ганнибала с Римом.

Без хронического, родового помешательства прекратилась бы всякая государственная деятельность, что с излечением от него остановилась бы история. Не было бы ей занятия, не было бы в ней интереса. Не в уме сила и слава истории, да и не в счастье, как поет старинная песня, а *в безумии* <...> Умом и словом человек отличается от всех животных. И так, как безумие есть творчество ума, так вымысел — творчество слова (XX.1, 15).

Гениальна формула, что безумие есть творчество ума. Это та проблема, с которой столкнется человечество в XX веке²⁸.

Надо сказать, что тема безумия при возможном переустройстве мира занимала умы немцев и русских, учитывавших опыт Французской революции. Стоит вспомнить Ницше:

Безумие в учении о перевороте. Существуют политические и социальные фантазии, которые пламенно и красноречиво призывают к перевороту всего общественного порядка, исходя из веры, что тогда тотчас же как бы сам собой воздвигнется великолепнейший храм прекрасной человечности. В этой опасной мечте слышен еще отзвук суеверия Руссо, который верит в чудесную первичную, но как бы *засыпанную* посторонними примесями благость человеческой природы и приписывает всю вину этой непрявленности учреждениям культуры — обществу, государству, воспитанию. К сожалению, из исторического опыта известно, что всякий такой переворот снова воскрешает самые дикие энергии — давно погребенные ужасы и необузданности отдаленнейших эпох; что, следовательно, переворот хотя и может быть источником силы в ослабевшем человечестве, но никогда не бывает гармонизатором, строителем, художником, завершителем человеческой природы. Не умеренная натура *Вольтера*, склонная к упорядочению, устройению, реформе, а *страстные безумия и полублуды*

²⁸ См., например, мою статью: О сошедшем с ума разуме. К пониманию контрutoпии Е. Замятина «Мы» // Философский журнал. 2011. № 2 (7).

(курсив мой. — В. К.) Руссо пробудили оптимистический дух революции, против которого я восклицаю: «Ecrasez l'infame!» (раздавим гадину. — фр.) Этим духом надолго был изгнан *дух просвещения и прогрессивного развития*; подумаем — каждый про себя, — можно ли снова вызвать его к жизни!²⁹

Как известно, Шиллер был поклонником французской революции. И первая его пьеса была данью этой страсти и разочарованию в насильственном перевороте. В юношеские годы идеалом Герцена был Карл Моор из шиллеровских «Разбойников». Но ведь Шиллер откровенно изобразил своего героя как настоящего преступника и безумца, убивающего прекрасную девушку, чтобы угодить своей шайке. Не забудем его исповедальное слово, обращенное к Амалии:

Так погибни же, Амалия!.. Умри, отец! Умри в третий раз — из-за меня!.. Твои спасители — разбойники и убийцы! А твой Карл — их атаман! <...> (*Ударяясь головой о дуб.*) Души тех, кого я придушил во время любовных ласк, кого я поразил во время мирного сна, души тех... Ха-ха-ха! Слышите этот взрыв пороховой башни над постелями рожениц? Видите, как пламя лижет колыбели младенцев? Вот он, твой венчальный факел! Вот она, твоя свадебная музыка! О, Господь ничего не забывает, он умеет все связать воедино.

Это уже заставляет вспомнить и желание Бакунина взорвать дрезденскую ратушу, и взрывы коммунарами Тюильри. Была задана парадигма отношения всепрощения революционному безумству. Недоучившиеся русские студенты — благодарные читатели Шиллера. О своем друге Кетчере Герцен вспоминал: «Шиллер был необыкновенно по плечу нашему студенту. Поза и Макс, Карл Моор и Фердинанд, студенты, разбойники-студенты — все это протест первого рассвета, первого негодования. Больше деятельный

²⁹ *Ницше Фридрих.* Человеческое, слишком человеческое // *Ницше Фридрих.* Сочинения в 2 тт. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 440.

сердцем, чем умом, Кетчер понял, овладел поэтической рефлексией Шиллера, его революционной философией в диалогах, и на них остановился. Он был удовлетворен, критика и скептицизм были для него совершенно чужды» (IX, 226).

Собственно, прошел через увлечение этим героем и Достоевский, его старший брат Михаил перевел шиллеровских «Разбойников» и «Дон Карлоса». В «Бесах» опасность этой пьесы звучит явно, неслучайно многие фразы героев романа напоминают речи шиллеровских злодеев. Революционную философию Шиллера он отверг, слишком насмотрелся на русских недоучившихся студентов, да и на настоящих разбойников на каторге. Интересно, что самого проблемного своего сына, Ивана, старик Карамазов, называет «почтительнейшим сыном» — Карлом Моором. Шиллер, кстати, писал в авторецензии: «Разбойник Моор не вор, а злодей, не подлец, а чудовище»³⁰. Герцен вырастал на романтической культуре, и шиллеровские «Разбойники» казались ему выражением антимещанского пафоса. Слова не казались ему страшными, они вроде бы будили дух, а призывы к крестьянскому возмущению как-то оставались вне контекста реальной жизни. Разбойников из крестьян он не видел, только слышал о них. Поэтому писал уважительно о русском разбое.

Эстеты обожали Герцена, смыкаясь тут с бесами. Знаменитый Айхенвальд писал о Герцене: «Всегда блистательный и духовно-роскошный, князь эмиграции, властелин, которому недоставало только престола, Александр Великолепный, король в изгнании»³¹. Айхенвальд словно не читал «Бесов» Достоевского и не помнил разговора Петра Верховенского со Ставрогиным:

Ставрогин, вы красавец! Я люблю красоту. Я нигилист, но люблю красоту. Разве нигилисты красоту не любят? Они только идолов не любят, ну а я люблю идола! Вы мой идол! Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят; вы смотрите всем ровней, и вас все боятся, это хорошо. К вам никто не по-

³⁰ Шиллер Фридрих. Собр. соч. в 7 тт. Т. 1. М.: ГИХЛ, 1955. С. 758.

³¹ Айхенвальд Ю. Герцен // Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М.: Республика, 1994. С. 517.

дойдет вас потрепать по плечу. Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен! Вам ничего не значит пожертвовать жизнью, и своею и чужою. Вы именно таков, какого надо. Мне, мне именно такого надо, как вы. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк <...> Вы красавец, гордый, как бог, ничего для себя не ищущий, с ореолом жертвы, «скрывающийся». Главное, легенду! Вы их победите, взглянете и победите. Новую правду несет и «скрывается».

А ведь и Герцен был в эмиграции, то есть «скрывался». Слова Айхенвальда почти парафраз речи беса, одевающего на голову Ставрогина корону «Ивана-Царевича».

В своей статье 2009 года я писал о том, что прототипом Ставрогина можно назвать Герцена³². Идеи Герцена исповедуют герои «Бесов», приписывая их авторство Ставрогину, желая видеть его своим вождем. Но Ставрогин, как и Герцен, не желает возглавить ни одно из инициированных им движений.

А русские радикалы хотели предводителя реального. Конфликт не мог не возникнуть. Герцен мог восклицать «Vive la mort!» Но не видел за этими словами действительной смерти. Это видели либералы-консерваторы. Чичерин твердо писал, обращаясь к великому эмигранту:

И на каждом из нас, на самых незаметных деятелях лежит священная обязанность беречь свое гражданское достояние, успокаивать бунтующие страсти, отвращать кровавую развязку. Так ли Вы поступаете, Вы, которому Ваше положение дает более широкое и свободное поприще, нежели другим? Мы вправе спросить это у Вас, и какой дадите Вы ответ? Вы открываете страницы своего журнала безумным воззванием к дикой силе; Вы сами, стоя на другом берегу, со спокойной и презрительной иронией указываете нам на палку и на топор как на поэтические капризы, которым даже мешать неучтиво. Палка сверху и топор снизу — вот обыкновенный конец поли-

³² Кантор В. Пути и катастрофы русской мысли // Вопросы литературы. 2009. № 4. С. 338—339.

тической проповеди, действующей под внушением страсти! О, с этой стороны Вы встретите в России много сочувствия!³³

Если история, как полагал Герцен, есть безумие, то и творить ее надо соответственно. В 1860 году Герцен печатает в «Колоколе» *провокационное* «Письмо из России», где призыв к топору можно было приписать провинциалу Чернышевскому. А Чернышевский был против народного бунта, к которому звал Герцен: «Если ни правительство, ни помещики ничего не сделают, — сделает топор. Пусть и государь знает, что от него зависит, чтоб русский крестьянин не вынимал его из-за своего кушака»³⁴, — это из предисловия к своему тексту «Крещеная собственность» (1856 год — то есть *за четыре года* до «Письма из провинции»).

Самое поразительное, что даже покинувшая Россию из-за несогласия с советскими трактовками литературы российская интеллигенция полностью сохранила советское восприятие Герцена как мягкого либерала. И вот вопреки многим фразам Герцена (в том числе только что процитированной) Раиса Орлова пишет уже на Западе (вроде бояться-то нечего, но клише работает!): «Герцен — в отличие от молодых радикалов-современников — никогда не звал Русь к топору»³⁵. Еще как звал!

Выход безумия из литературы в жизнь

Характерен спор по поводу страшной прокламации «Молодой России» (1862), в которой говорилось совершенно по-герценовски:

Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное и с громким криком «Да здрав-

³³ *Чичерин Б. Н.* Письмо к издателю «Колокола» // *Чичерин Б. Н.* Философия права. СПб.: Наука, 1998. С. 368.

³⁴ *Герцен А. И.* Избранные труды / Сост., вступ. ст., коммент. В. К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2010. С. 345.

³⁵ *Орлова Раиса.* Указ. соч. С. 57.

стает социальная и демократическая республика Русская!» двинемся на Зимний дворец истребить живущих там. Может случиться, что все дело кончится одним истреблением императорской фамилии, то есть какой-нибудь сотни, другой людей, но может случиться, и это последнее вернее, что вся императорская партия, как один человек, встанет за государя <...> В этом последнем случае, с полной верою в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которой вышло на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: «в топоры», и тогда... тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам! <...> Кто будет не с нами, тот будет против; кто против — тот наш враг; а врагов следует истреблять всеми способами³⁶.

К Герцену там прозвучало некое полууважительное отношение как к инициатору движения: «Несмотря на

³⁶ Молодая Россия // Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная публикация / Ред. Е. Л. Рудницкая. М.: Археографический центр, 1997. С. 149. Как не раз указывалось в комментариях к этой прокламации, ее автором был Петр Григорьевич Заичневский (1842—1896), сын орловского помещика, студент физико-математического факультета Московского университета, арестованный в июле 1861 года за издание руководимым им кружком запрещенной политической литературы. Прокламация написана весной 1862 года во время заключения Заичневского в Тверском полицейском «частном» доме в Москве. С помощью солдата-часового была передана на волю и отпечатана в имении помещика П. Коробьина. В мае 1862-го прокламацию начали распространять в Петербурге, в Москве и других городах. Ее рассылали по почте, разбрасывали на улицах и бульварах, в здании Московского университета, в университетских клиниках (с. 149—150). Последовавшие за ее выходом страшные пожары в Петербурге естественно связались в сознании питерских жителей в том числе и с этой прокламацией.

В 1922 году знаменитый историк М. Покровский назвал Заичневского прямым предшественником Нечаева и Ленина, заметив, что из его слов «глядит тот же большевизм», что предвиденное автором «Молодой России» при большевиках «стало обычным жизненным явлением» (25 лет РКП/большевиков. Тверь: Октябрь, 1923. С. 23—24).

все наше глубокое уважение к А. И. Герцену как публицисту, имевшему на развитие общества большое влияние, как человеку, принесшему России громадную пользу, мы должны сознаться, что “Колокол” не может служить не только полным выражением мнений революционной партии, но даже и отголоском их»³⁷.

Герцен предпочел не заметить инвектив в свой адрес, сочтя, что молодой задор еще можно простить, важнее использовать этот текст для очередного удара по правительству. Он тут же отреагировал на прокламацию:

Если молодые люди <...> в своей заносчивости наговорили пустяков (! — *В. К.*) — остановите их, вступите с ними в спор, отвечайте им, но не кричите о помощи, не подталкивайте их в казематы <...> Жаль, что молодые люди выдали эту прокламацию, но винить их мы не станем. Ну что упрекать молодости ее молодость, сама пройдет, как поживут... Горячая кровь <...> тоска ожидания, растущая не по дням, а по часам с приближением чего-то великого, чем воздух полон, чем земля колеблется и чего еще нет, а тут *святое нетерпение* (курсив мой. — *В. К.*), две-три неудачи — и страшные слова крови и страшные угрозы срываются с языка. Крови от них ни капли не пролилось, а если прольется, то это будет их кровь — юношей-фанатиков.

В чем же уголовщина? (XVI, 202)

Катков ответил жестко, наотмашь, но справедливо:

Бездушный фразер не видит, в чем *уголовщина*. Ему ничего, — пусть прольется кровь этих «юношей-фанатиков»! Он в стороне, — пусть она прольется. А чтоб им было веселее и чтоб они не одумались, он перебирает все натянутые струны в их душе, он шевелит в них всю эту массу темных чувствований, которые мутят их головы <...> Он почтил их титулом Шиллеров; он показывает им в священной перспективе славу умершего на Голгофе. Чтобы дать им предвкушение ожидающей их апофеозы, он поет молебен жертвам, уже пострадавшим за

³⁷ Молодая Россия. С. 145.

подметные листки, и молит их, чтоб они «с высоты своей Голгофы» отпустили грех народу, который требовал их головы³⁸.

А к Шиллеру в оценке этой жуткой прокламации Герцен и впрямь апеллировал: «Действительно, в “Молодой России” столько же Шиллера, сколько Бабефа. Благородные и несколько восторженные и метафизические порывы Шиллера облекались очень часто в кровавые сентенции Моора» (XVI, 204). Герцен только забывал, что у Шиллера лилась театральная кровь («клюквенный сок», как в «Балаганчике» Блока), а «Молодая Россия» звала к реальной расправе с реальными людьми — не на театральной сцене, а на исторической.

Впрочем, эпоха, которая привела к разгулу демонических сил в XX веке, уже начиналась, о чем достаточно внятно написал великий немецкий теолог: «Мужество самоутверждения неизбежно подразумевает мужество утверждения собственной демонической глубины <...> Богемные и романтические натуралисты с жадностью за это ухватились. Мужество принять на себя тревогу демонического, невзирая на ее разрушительный и подчас опустошающий характер, было формой победы над тревогой вины. Однако это стало возможным лишь потому, что предшествовавшее развитие привело к устранению представления о личностном характере зла, заменив его злом космическим, которое структурно и не становится делом личной ответственности. Мужество принять на себя тревогу вины превратилось в мужество утверждать в себе демоническое начало»³⁹.

Нигилисты, чтобы быть самими собою, утверждали демоническое, безумное начало, логике и разуму враждебное. Что же произошло в результате их «мужества быть»? процитирую Чичерина:

³⁸ Катков М. Н. Заметка для издателя «Колокола» // Катков Михаил. Идеология охранительства. М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 343–344.

³⁹ Тиллих Пауль. Мужество быть. М.: Модерн, 2011. С. 152.

Эта сплоченная шайка поставила себе задачей терроризировать русское правительство и преследовала свою цель с удивительной последовательностью и умением. Начался целый ряд убийств; среди бела дня на улицах столицы шеф жандармов пал жертвою злодеев. Сам царь преследовался как дикий зверь. В него неоднократно стреляли; делались подкопы под железные дороги на его пути, произошел взрыв в Зимнем Дворце <...> *Казалось, вся энергия, к которой способен русский человек, сосредоточилась в этом скопище для дела чистого безумия. Подобно тому как сумасшедший проявляет иногда изумительную хитрость в достижении своих бессмысленных целей, русские нигилисты как будто направили весь свой ум и всю свою волю на то, чтобы сбить Россию с правильного пути и водворить в ней полный хаос* (курсив мой. — В. К.). <...> Государь, даровавший свободу многим миллионам своих подданных, впервые внесший в Россию неведомые ей дотоле начала права и закона, совершивший в короткое время величайшие преобразования, о каких повествует всемирная история, пал, злодейски растерзанный убийцами, вышедшими из недр благодетельствованного им народа⁴⁰.

Неслучайно Достоевский ждал от герценовских нигилистов антропофагии.

Это безумие не было остановлено Герценом, оно им подогревалось, словно он и впрямь не ведал, что творил. Называя их Карлами Моорами, он давал свое прочтение образа этого бандита и убийцы, немецкого варианта Стеньки Разина, только образованного Стеньки, недоучившегося студента. Как бы ставил им в пример «благородного убийцу». Оправдание Герцену Катков видит только в безумии, ведь преступника от казни спасает только признание его буйнопомешанным. Вот Катков и пишет: «Издатели *Колокола*, спрашивают нас, какие они люди. Мы сказали. Честными ни в каком случае назвать их нельзя. *От бесчестия им одна отговорка — помешательство* (курсив мой. — В. К.)»⁴¹.

⁴⁰ Чичерин Б. Н. Россия накануне двадцатого столетия // Чичерин Б. Н. Указ. изд. Т. 1. С. 553.

⁴¹ Катков М. Н. Указ. соч. С. 345.

Заблуждение, или Путь к катастрофе

Вера Герцена в русских радикалов была не случайна, ибо это была соломинка, чтобы выплыть из моря разочарования всей своей жизни. По замечанию Чичерина,

вера в европейскую революцию исчезла; к революционерам, которых он видел вблизи, он питал глубокое презрение. В самом Прудоне он, к великому своему прискорбию, замечал упадок. Как утопающий хватается за соломинку, он принялся возвеличивать русскую общину, в которой усматривал смутный зародыш какого-то социалистического будущего, тем самым сближался со славянофилами; но сам он ей не верил и в открывшиеся минуты признавался, что кидает пыль в глаза своим европейским друзьям. Он потерял даже веру в прогресс⁴².

Тут стоит сделать маленькое замечание. Кто бывал в Европе, тот знает возникающее порой непроизвольное желание удивить и поразить воображение западноевропейца какой-нибудь нашей национальной особенностью. Чичерин писал с удивлением: «Когда я заговорил с ним о развитии человечества, он мне сказал, что этим занимается Огарев, и молчаливый Огарев прочел мне какую-то белиберду о стадном чувстве и о движении по спирали. Я убедился, что в политических вопросах у Герцена подготовки не было ни малейшей и что он даже не способен их понимать»⁴³. Впрочем, политический облик Огарева ясен из одного его замечания. Огарев хотел стать Швабриным, одним из самых омерзительных вариаций российских Иуд, изображенным Пушкиным. Еще в 1863 году Огарев признавался: «Если у нас появится новый Пугачев, я пойду к нему в адъютанты»⁴⁴. В романе «Дым» насмотревшийся на Огарева Тургенев изобразил его в образе доморощенного пророка, видящего только себя, хотя, может, черты для

⁴² Чичерин Б. Н. Воспоминания. Т. 1. С. 391.

⁴³ Там же.

⁴⁴ Цит. по: Орлова Раиса. Указ. соч. С. 40.

образа Губарева взяты были не только у Огарева, но и у Герцена:

Литвинов с любопытством уставился на «того самого». На первый раз он не нашел в нем ничего необыкновенного. Он видел перед собою господина наружности почтенной и немного туповатой, лобастого, глазастого, губастого, бородастого, с широкою шеей, с косвенным, вниз устремленным взглядом. Этот господин осклабился, промолвил: «Ммм... да... это хорошо... мне приятно...» — поднес руку к собственному лицу и, тотчас же, повернувшись к Литвинову спиной, ступил несколько раз по коврику, медленно и странно переваливаясь, как бы крадучись. У Губарева была привычка постоянно расхаживать взад и вперед, то и дело подергивая и почесывая бороду концами длинных и твердых ногтей.

Далее изображен духовный шабаш эмигрантской тусовки, потом так удачно повторенный в изображении собрания литераторов в «Театральном романе» М. Булгакова. Но глава этого шабаша — человек, соединивший в своей фамилии две: Герцена и Огарева — Губарев. «И среди всего этого гама и чада, по-прежнему переваливаясь и шевеля в бороде, без устали расхаживал Губарев и то прислушивался, принимая ухом, к чьему-нибудь рассуждению, то вставлял свое слово, и всякий невольно чувствовал, что он-то, Губарев, всему matka и есть, что он здесь и хозяин, и первенствующее лицо...». В «Дыме» описана, в сущности, эмигрантская шайка outlaw со своими сварами, со своим атаманом — Губаревым, который воображает себя героем и мыслителем.

Герцен вроде бы понимал, что существуют демонические силы, играющие историей, приводящие совсем не к тому, о чем мечтали идеологи, но полагал, что между ними и им есть большая историческая разница: «Какое счастье, что все эти энтузиасты давно были схоронены! Им бы пришлось увидеть, что дело их не подвинулось ни на вершок, что их идеалы остались идеалами, что недостаточно разобрать по камешку Бастилию, чтоб сделать колонию свободными людьми. Вы сравниваете нас с ними, забывая, что мы знаем события пятидесяти лет, прошедших после их смерти, что мы были свидетелями,

как все упования теоретических умов были осмеяны, как *демоническое начало истории нахохоталось над их наукой, мыслью, теорией, как оно из республики сделало Наполеона, из революции 1830 г. биржевой оборот* (курсив мой. — В. К.). Свидетели всего бывшего, мы не можем иметь надежды наших предшественников»⁴⁵.

На что же он мог рассчитывать? И вот тут выговаривается мысль, ведущая к «Молодой России», да и другим русским радикалам, уверявшим, что они пойдут в своей последовательности много дальше, чем французские революционеры, что их не остановят десятки тысяч голов, пойдет счет и на сотни тысяч. Эта позиция почти выходит из формулировки Герцена: «Свидетели всего бывшего, мы не можем иметь надежды наших предшественников. Глубже изучивши революционные вопросы, мы требуем теперь и больше и шире того, что они требовали»⁴⁶. Собственно, «Молодая Россия» просто расшифровала его слова: «Мы изучали историю Запада, и это изучение не прошло для нас даром: мы будем последовательнее не только жалких революционеров 48 года, но и великих террористов 92 года, мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка придется пролить втрое больше крови, чем пролито Якобинцами в 90 годах»⁴⁷. Да уж воистину Карлы Мооры! Так назвал их Герцен. Напомню еще раз деяния этого благородного разбойника:

«Ребята, — сказал атаман, — чего не сделаешь для друга? Спасем ли мы его или нет, во всяком случае, зажжем ему такой погребальный факел, какой еще не возжигали ни одному королю и от которого у них вся шкура скорезится». Вся шайка поднята на ноги <...> Весь город валом валил на интересное зрелище; всадники, пешеходы, экипажи смешались в кучу, на всю округу слышались шум и пение погребальных псалмов. «Теперь, — сказал атаман, — зажигай! Зажигай!»

⁴⁵ Герцен А. И. Избранные труды. С. 99—100.

⁴⁶ Там же. С. 100.

⁴⁷ Молодая Россия // Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. С. 146.

Наши ребята помчались стрелой, зажгли город разом с тридцати трех концов, разбросали зажженные фитили у пороховых погребов, церквей и амбаров... *Morbleu!* Не прошло и четверти часа, как северо-восточный ветер, у которого, видимо, тоже был зуб на этот город, подоспел нам на помощь и взметнул пламя до самых крыш. Между тем мы, как фурии, носимся по улицам и вопим на весь город: «Пожар, пожар!» Вой, крик, треск! Гудит набат! Пороховой погреб взлетает на воздух! Точно земля раскололась надвое, небо лопнуло и ад ушел еще на десять тысяч сажен глубже!

Все это напоминает не только петербургские пожары, но и пожар в «Бесах», в котором косвенно виновен Ставрогин. Говоря о горевшем Петербурге, не забудем герценовского любимца Карла Моора и Бакунина, с романтическим пафосом призывавшего взорвать дрезденскую ратушу, о чем с восторгом писал Герцен. Любопытно, что гениальный филолог Виктор Клемперер так оценил романтизм, из которого выростали революционные движения XX века, говорил он, прежде всего, разумеется, о Германии: «Я уже назвал немецкий корень нацизма: это суженный, ограниченный, извращенный романтизм. Если я добавлю: кичевой романтизм, то это будет самым точным обозначением»⁴⁸.

Отказываясь во имя разбойничьего романтизма от идеи мирового разума Гегеля, от Бога, не ставя даже вопроса о теодицее, Герцен оказался поневоле в союзе с демоном, сначала карнавальным, трусливым Бакуниным, а потом и с жестоким Нечаевым. Семен Франк отметил отказ Герцена от принятия трудной работы под началом Бога, которая включает в себя и беды, и реальные несчастья. Герцен готов был принять Бога (как он хотел поначалу принять и Запад в качестве земли обетованной, то есть утопически и романтически), но при условии немедленного исполнения райской жизни на Земле:

В известном споре между Грановским и Герценом о бессмертии души Герцен на слова Грановского, что он не может

⁴⁸ *Клемперер В.* Указ. соч. С. 270.

жить без веры в бессмертие, ответил: «Вот было бы хорошо, если бы мир был устроен, как сказка, если бы все, что нам нужно, было бы тотчас у нас под руками». Мы видим — Герцен, не зная того, повторяет по существу кантовский аргумент о «ста талерах»: вот было бы хорошо, если бы мысль о ста талерах всегда совпадала с их реальностью! Предпосылкой этого рассуждения в его применении к объекту религиозной веры является допущение, что структура бытия, предстоящая религиозному сознанию, принципиально совпадает с структурой внешне-предметного бытия, предстоящего чувственному взору и образующего предмет наших чувственных желаний и исканий. В обоих случаях — таково предположение — желание и искание есть одно, а реальность желанного нечто совсем иное и совершенно независимое от факта ее желанности. И неверующий убежден, что верующий лишь из отсутствия мужества и интеллектуальной честности утверждает реальное наличие того, чем он жаждет обладать⁴⁹.

Он заранее разочаровался в Боге, потом в Западе с его, так сказать, *мещанством*. Демоны и их безумие казались надежнее Бога и западных устроителей своего быта, они вроде бы что-то хотели делать. Но вот что? После выстрела Каракозова это стало внятно до жути, и Герцен пишет о нем, подчеркивая безумие революционера: «Сумасшедший фанатик или озлобленный человек *из дворян* стреляет в государя» (XIX, 59). И безумие вызывает у него уже не романтический восторг, а неподдельный ужас.

Инвективу Герцена против Каракозова подхватывает Нечаев, шаржируя ее:

Когда мы намекнули этим дилетантам о последовательности между словом и делом, мы сразу оттолкнули их и от себя, и от либерализма. Барство оказалось нам враждебно при первом нашем практическом шаге к народной цели. Дилетанты поняли, к чему ведет опасная забава либеральничать; они

⁴⁹ Франк С. Л. Онтологическое доказательство бытия Бога // Франк С. Л. По ту сторону правого и левого. Paris: YMCA-PRESS, 1972. С. 150.

увидали, что модное удовольствие, критика современного порядка, есть их предсмертная пляска (угроза почти открытая. Курсив мой. — В. К.). Они остановились, злобно повернули назад и из либералов превратились в консерваторов. Потоки грязи полились на всех тех, которые хотели быть последовательными и начали проводить революционную мысль в практическое дело. Герцен первый бросил камнем в Каракозова <...> Все возвышенные побуждения, весь радикализм этих баричей разлетелся в пух при соприкосновении с реальностью. Либерализм их переходит теперь в ярую ненависть к «безумным мальчишкам»⁵⁰.

Себя Нечаев, разумеется, тоже относит к «безумным мальчишкам». С гордостью относит.

И Герцен в 1869 году уже понимает совсем иначе роль безумия. Это не творческое преобразование, это не развитие истории, это нечто иное:

Уничтожать и топтать всходы легче, чем торопить их рост. Тот, кто не хочет ждать и работать, тот идет по старой колее пророков и прорицателей, иересиархов, фанатиков и цеховых революционеров... *А всякое дело, совершающееся при пособии элементов безумных, мистических, фантастических, в последних выводах своих непременно будет иметь и безумные результаты* (курсив мой. — В. К.) рядом с дельными⁵¹.

Игра в Искандера и Карла Моора кончилась, она была, но выродилась, бандитская шайка, окружившая атамана, требовала смерти Амалии. Требовала, презируя прекраснодушный романтизм атамана, время от времени просыпавшийся в нем. Его игровую позицию с презрением обозначил Нечаев: «Поколение, к которому принадлежал Герцен, было последним, заключительным явлением либеральничающего барства. Его теоретический радикализм был тепличным

⁵⁰ [Нечаев С. Г.] Община. Орган русских социалистов // Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. С. 295.

⁵¹ Герцен А. И. К старому товарищу // Герцен А. И. Избранные труды. С. 701.

цветком, пышно распутившимся в искусственной температуре обеспеченной жизни и быстро увядшим при первом соприкосновении с обыкновенным реальным воздухом практического дела <...> Они критиковали, осмеивали существующий порядок с язвительной салонной ловкостью, утонченным поэтическим языком. Их занимал самый процесс этой критики. Они были довольны своими ролями»⁵².

Поразительно, что тема сводящих человечество с ума «трихин», прозвучавшая в «Преступлении и наказании», возникает у Герцена в 1869 году в одной из последних его повестей «APHORISMATA», где изображен прозектор Тит Левиафанский — второе издание доктора Крупова и новое alter ego Герцена:

Когда я перевел первый афоризм, я испугался, но вскоре догадался, что прозектор «лично» сумасшедший, в доказательство чего и печатаю переводный отрывок. Батюшка полагает, что в прозектора вторгся Вельсеул — тот самый, который некогда был сослан в свиней. Может быть! Спорить не стану, — а я все думал, что он давно истрочен на *трихины* (XX, 1, 112).

Замечу, что тут есть и угадка о еще не написанных «Бесах» и что параллельно Герцен пишет письма «К старому товарищу» с предупреждением против надвигающейся бесовщины. А трихины уже вошли в окружение Герцена. И *самоназвание* «Вельсеул» звучит трагически на фоне его фразы из предсмертного дневника: «И я и Огарев пришли к темному окончанию» (XX, 2, 609).

Герцен весь 1869 год сочиняет свои письма «К старому товарищу», нечто вроде завещания, наполненное банальностями в защиту цивилизованных норм, банальностей, которые надо было произнести идеологу колокольного звона, **звавшего и будившего живых, а разбудившего нежить**. «К старому товарищу» — заклинание,

⁵² [Нечаев С. Г.] Указ. соч. С. 295.

обращенное к бесам, что надо вести себя цивилизованно. Но нежить уже напиталась живой кровушки и заклинаниям не поддавалась. Формально письмо обращено к его бывшему другу и нынешнему покровителю Нечаева Бакунину. Это письмо — отречение от себя прежнего: «Дальше я не пойду теперь. А скажу в заключение вот что. Стоя возле трупов, возле ядрами разрушенных домов, слушая в лихорадке, как расстреливали пленных, я всем сердцем и всем помышлением звал дикие силы на месть и разрушение старой, преступной веси, — звал, даже не очень думая, чем она заменится»⁵³.

Поначалу бесы, услышав о последнем тексте Герцена, испугались. На бланке «Народная расправа» Нечаев отправил Наталии Алексеевне Тучковой-Огаревой письмо:

Узнав, что фамилия когда-то бывшего русского деятеля Герцена думает начать издание сочинений покойного выпуском тех его статей, которые писаны им незадолго до смерти, в те дни, когда, отдалившись от активного участия в деле, началу которого он более всех содействовал, покойный переживал тот внутренний разлад между мыслью и положением, что составляет неотделимую принадлежность предшествующего поколения <...> *Мы заявляем*, что эти статьи столько же противоположны его прежним, несомненно, даровитым произведениям, сколько и всему современному настроению молодых умов в России, и что сам Герцен никогда бы не согласился издать эти произведения в настоящее время <...> *Высказывая наше мнение гг. издателям, мы вполне уверены, что они, зная с кем имеют дело и понимая положение русского движения, не принудят нас к печальной необходимости действовать менее деликатным образом* (курсив мой. — В. К.)⁵⁴.

Семья Герцена поступила мужественно и текст опубликовала. Но события уже шли своим чередом. Публикация писем Герцена бесов не остановила.

⁵³ Герцен А. И. К старому товарищу. С. 704—705.

⁵⁴ Литературное наследство. Т. 41/42: А. И. Герцен. [Кн.] II. М.: АН СССР, 1941. С. 163.

Так кто же виноват?

Природа? Случай как псевдоним Бога? Или, как полагал Августин, а за ним Лейбниц, Лютер, Достоевский и другие, виноват сам человек, ибо не случайно дана ему Богом свобода воли. А стало быть, если говорить о романе Герцена, то виноват искуситель Бельтов. Позволю себе достаточно смелую историческую параллель. Псевдоним «Бельтов» взял себе Плеханов. Именно он поддержал Ульянова-Ленина, в котором русские мыслители видели иновоплощение Нечаева, безумца, погубившего страну. Шутка с именами — дело рискованное. А употребление романтических слов и восхищение романтическими безумцами — дело еще более рискованное.

В последнем своем трактате Герцен выступил в защиту цивилизации, но похоже, что поздновато. Его никто не слышал и не хотел слышать. Он писал: «То, что мыслящие люди прощали Аттиле, Комитету общественного спасения и даже Петру I, не простят нам»⁵⁵. Разбудить зло легко, усыпить практически невозможно. Безумие стало в XX веке фактом массовой психологии и нормой социальной жизни. Строго говоря, оно из общественной жизни никогда не уходило, и в этом Герцен прав. Но есть степень и уровень этого безумия. В XX веке они зашкаливали. Клемперер заметил, что Нюрнбергский суд не мог принять решение по поводу Гитлера, заслуживает он виселицы или сумасшедшего дома. Но, кажется, безумие, ставшее явлением общественной жизни, надо судить не по медицинским законам, а по законам социума.

⁵⁵ Герцен А. И. К старому товарищу. С. 707.